

ГЛАВА II. Политическая
нравственность: присяга
до и после 89 г.;
противоречие
гражданской и
конституционной присяги.
– Политическая
нравственность Франции
развращена
клятвопреступлением

1. Политическая нравственность: присяга до и после 89 г.

Наши самозванные политики, ремесло которых состоит в оппозиции всем правительствам, что нисколько не мешает им кончать союзом со всяким правительством, приняли за правило, что, для успешной борьбы с властью, надо ее побивать её же собственным

оружием, т. е., другими словами, признавать закон ею изданный и представляемый. В переводе на простой язык это значит, что самое верное средство избавиться от человека – явиться к нему в дом и, когда он будет с вами здороваться, – убить его. Риторы, готовые разглагольствовать при всяком правительстве; адвокаты, защищающие не только всякое дело, но даже перед каким угодно судилищем, принимающие всякие законодательства, приноравливающиеся ко всевозможным судебным формам; атеисты, хвастающие своим индифферентизмом, потому что не в состоянии возвыситься до принципов; для которых все верования равны, потому что они потеряли понятие о праве, и которые не гнушаются преклонять колена ни перед каким кумиром, потому что презирают людей еще более, чем богов! – Вот каковы эти софисты, все совмещающие, все соглашающие, ничем не гнушающиеся, не знающие противоречий! У них на все готовы компромиссы, примирения, оправдания. Будь то конституция 1848 или конституция 1852, военносудные комиссии или суд присяжных, закон общественной безопасности или habeas corpus, обязанность гражданина или верноподданность династии – им все равно: они ни в чем не видят разницы. Таким образом мы видели, как непринужденно дали они присягу, необходимую, по конституции 1852, для избрания в законодательный корпус; а когда республиканская демократия не решалась поклоняться второй империи, они увлекли ее на поступок, который она, пока рассуждала хладнокровно и не теряла здравого смысла, считала вероломством.

Вот уже три года, как мне беспрестанно приходится говорить об этом важном вопросе присяги, в котором отражается вся наша политическая нравственность; и каждый раз мои замечания остаются без ответа. Теперь я снова возвращаюсь к нему, хотя заранее убежден, что на этот раз менее, чем когда-либо могу рассчитывать на получение ответа. Но мне хочется доказать по поводу присяги, что: во первых, наша несчастная нация решительно сама не знает что она делает и куда стремится; во вторых, что присяга несовместна с демократическими и социальными убеждениями, чтобы не сказать, с современною совестью.

До 89 г., при порядке, основанном, как говорят, на божественном праве, присяга приносилась лично королю. Это условие, по крайней мере, недопускало недоразумений. Во-первых, король был известная личность, в подлинности которой невозможно было ни усомниться, ни обмануться; во-вторых, он был воплощение нации, живой закон государства. Король был все. С ним нельзя было ни пускаться в разбор, ни полагать ограничения, ни ставить условия. Право было определено; политическая нравственность имела критерий. Присяга формальная или подразумеваемая приковывала подданного к королевской особе, символу, выражению и органу нации, её прав, учреждений, льгот или, как мы чванно называем их, вольностей. Это воззрение на королевскую власть и на присягу, проникнутое религиозным характером, имело свою выгодную сторону: омерзительный дом Валуа, от Франциска I до Генриха III, был, кажется, самую порочную династию, какую только можно придумать; а между тем, в лице их, это воззрение на королевскую власть спасло французскую национальность среди ужасов междоусобий.

С 89 г. нация управляется новыми идеями, осуждать которые, конечно, я не буду. Феодальная присяга была уничтожена и заменена гражданской. Что такое гражданская присяга? Вот формула гражданской присяги по конституции 1791 года, глава II, параграф 5:

I

«Клянусь быть верным народу, закону и королю и всеми моими силами поддерживать конституцию королевства, установленную национальным учредительным собранием в 1789, 1790 и 1791 годах».

Заметьте разницу. Присяга приносится уже не одному лицу – королю, а народу, закону и королю. Народ поименован первым, в знак его несомненной верховности; за ним следует закон – выражение народной воли; король последним. Он только представитель народа и исполнитель его воли; поэтому он назван после всех: между этими тремя понятиями есть постепенность. в этой формуле присяги выражается весь дух революции, каким он был в 89 г.

Гражданская присяга была уничтожена вместе с конституцией 91; в конституциях II, III и VIII годов о ней не упоминается. в 1804 г. Наполеон I восстановил ее в такой форме:

“ «Клянусь повиноваться конституциям империи и быть верным императору».

Итак, Наполеон старался как можно больше приблизиться к феодальной формуле; подобно Людовику XIV, он говорил: государство – это я, и считал себя истинным представителем Народа, живым Законом и воплощением Франции.

Но революция неумолима. Наполеон принужден упомянуть в формуле присяги о Конституциях Империи, т. е. о конституциях 1804, 1802 и 1799 гг.; а последняя тесно примыкает к революции и к принципам 89 г. Этого довольно: чтобы Наполеон ни делал и как бы он этого ни таил, новый дух проглядывает в этих конституциях. В сущности, присяга 1804 та же, что и 1791 года; были присяги, приносившиеся королям старшей и младшей линии, и наконец, Наполеону III. Итак несомненно, что теперь во Франции монарх не единственное, даже не первое лицо. Есть кто-то выше короля, есть что-то выше престола: этот кто-то – Народ; это что-то – Закон. Удалить из присяги эти два образа невозможно; невозможно снова водворить в сердцах монархическую религию.

После этих замечаний рассмотрим, какова может быть сила этой новой присяги.

Во-первых, относительно её цели, содержание её показывает, что этими ясными словами хотели удовлетворить новым идеям, освятить новое право, сделать саму присягу менее мистической, менее идолопоклоннической, более достойной человека и гражданина. Сочетанием этих трех великих слов – «Народ, Закон и Король», думали придать присяге более разумности и величия. Делая эти три имени, так сказать, солидарными, напоминая о конституциях, высочайшем выражении закона, думали упрочить общественное здание и придать власти ненарушимость закона и неисчезаемость народа. Так, вероятно, рассуждали учредители этой присяги; и это доказывает, что они поступали скорее, как поэты, чем государственные люди. Их риторика рухнет перед здравым смыслом.

В самом деле: очевидно, что присяга, приносимая трем лицам или, пожалуй, трем принципам, не может быть так определительна, как если ее приносят одному; точно также всякое обязательство, что-нибудь делать или чего-нибудь не делать, может скорее подать повод к перетолкованиям, путанице и придиркам, когда относится к нескольким лицам, чем когда заключено с одним на определенных условиях или даже без всяких условий. Так как политическая присяга с 1789 г. приносится, в одно и то же время, и народу, и закону, и королю – все равно выражено ли это в ней прямо, или затаено, – то она по необходимости должна быть условна, должна подлежать толкованиям и предполагает взаимность. Напрасно президент законодательного корпуса зажимает рот депутату, который, прежде чем поднять руку и произнести присягу, просит позволения объясниться. Самая сущность этого действия дает присягающему право объясниться.

Конституция 91, 1804 и 1814, самые монархические из наших конституций, требуют от императора или короля присяги, равносильной той, которая приносится ему самому; в этой присяге напоминаются и выражаются принципы 89 г. и дух революции, и главе государства вменяется ею в обязанность защищать эти начала. Это несомненно доказывает, что с 1789 г. политическая присяга обратилась в обоюдосторонний договор между государем и подданными. Одна только конституция 1852 не выражает прямо этих начал. Но это должно считать просто нечаянным упущением, на которое, смею думать, Наполеон III не дерзнет опереться.

Но вот худшая сторона этого дела: может случиться, что трое, которым приносится присяга и которые предполагаются нераздельными, – т. е. Народ, Закон и Король, станут в противоречие друг с другом и разделятся. Народ, как и отдельные личности, может заблуждаться; его характер, чувства, мнения изменчивы. Закон также может меняться, хотя бы только в умах тех, которые, из выгод или даже по свойству своих обязанностей, призваны толковать его. Наконец и король может измениться. Как принцип, он постоянно меняется: король 1701 года не то, что король 1788 г.; король 1830 г. не похож на короля 1714 г. Как личность, он изменяется еще более, и притом эта перемена еще опаснее: бурбонская династия может быть царствовала бы до сих пор, если бы Карл X разделял взгляды Людовика XVIII. Между тремя столь изменчивыми элементами согласие не может быть прочно; рано или поздно антагонизм неизбежен.

Что же выйдет из подобной присяги на практике и какую пользу могут извлечь из нея Страна, Конституция и Правительство, которым она дается? к чему повела присяга, которую короли Хартии получили от всей Франции, т. е. от всей политической и официальной Франции: от перов и депутатов, от чиновничества, администрации, церкви, Почетного Легиона, армии и т. д.? Грянула буря, и все пошло прахом, как будто эти клятвы были писаны на листьях бульварных деревьев. От неё отделались, сказав королю, что он первый нарушил свою присягу – и все тут. Это повторялось так часто с 1789 г., что в наши дни можно указать многих лиц, надававших, в течение своего служебного поприща, целую дюжину присяг. В 1814 г. армия была зрительницей скандала, когда генералы империи, забыв или, вернее, перетолковав свою политическую и военную присягу, требовали отречения от своего императора, от своего вождя! Да, но увы! ведь он клялся сохранять в неприкосновенности владения республики, уважать и заставлять уважать равенство прав, политическую и гражданскую свободу!.. Долг платежом красен, Государь! Вы не сдержали

вашей клятвы: не взыщите, если и мы нарушим нашу присягу. Вы не уважали ни равенства прав, ни гражданской и политической свободы; области республики заняты неприятелем... Подписывайте же ваше отречение!...

Вот печальный, но неизбежный результат гражданской присяги. При прежних королях ни разу не было примера такой измены. Таким образом, с 1789 г. французы почти не переставали присягать своим конституциям и государям и не сдержали ни одной присяги. Поминутно сменялись конституции и государи, наперекор ли присяге, или в силу её – решить трудно; потому ли, что конституция была несовершенна и не выполняла своего назначения, или потому, что государи вызывали упреки в неискренности; всего же вернее потому, что при работе мысли и с течением времени возникало разногласие между Народом, Конституцией и Королем.

Таково было положение Франции в 1814, 1815, 1830 и 1848 годах. Сколько подлых сделок! Сколько падений! Сколько измен, прикрытых именем компромиссов! Было время, когда общественная совесть восставала против этих низостей. Наивный народ, не зная политического фатализма, управлявшего людьми и событиями, не понимал, чтобы верноподданный мог отступить от своего государя или христианин отречься от Бога. Он преследовал своим презрением неблагодарных изменников, и позор этот остался на их памяти. Теперь логика революции довершила свое дело: у нас все клянутся и все нарушают клятвы; для нас это, как говорится, все равно, что выпить стакан воды. Мы дошли даже до того, что считаем добродетельным поступком присягу, принесенную против своего желания и мысленно отвергаемую. наших неустрашимых присяжных, которых тридцать лет тому назад осмеяли бы, теперь расхваливают публично в собрании. Притом, как бы мы ни были убеждены, что эти подлецы действуют из-за выгод, а не по долгу, все у нас так перепутано, во всем такое противоречие, что мы никак не могли бы доказать этого и прямо обвинить их в измене своей клятвы. Что же удивительного после этого, что, оправдав их, наконец, мы решились последовать их примеру.

Взглянем на это странное извращение наших общественных нравов.

Народным решением 1851 г. Людовику Наполеону было поручено составить конституцию. Чтобы избавить свое правительство от коварных внушений и враждебных личностей, он поставил необходимым условием, для вступления во все должности, особенно депутатов, присягу на верность ему. Очевидно, автор конституции 1852 г. предполагал, что важнейшие представители прежних партий, его естественные враги, или откажутся, как честные люди, связать себя подобной присягой, или, дав ее, сдержат свое слово.

Сначала казалось, что эти предположения сбываются. Большинство политических людей, обративших на себя внимание при прежних правительствах, держались в стороне; те же, которые стали империалистами, сделали это чистосердечно. Все они, за немногими исключениями, оказались советниками благонамеренными и просвещенными; они спорили с правительством, но не за тем, чтобы нападать на него и колебать его, а чтобы предупредить его, служить ему и упрочить его. С другой стороны, гг. Кавеньяк, Гудшо и Карно торжественно отказались принести присягу, и отказ этот принес им такую же честь, как первым их верность.

В 1863 г., после слишком десятилетнего ожидания, решения изменились. Орлеанисты, легитимисты и республиканцы утверждают, что нужно снова вступить в парламент и составить законную оппозицию. Как же смотрят они на непереносимое условие присяги? Об этом никто из них ничего не сказал: говорить в подобных случаях опасно. Но по положению дел и по их действиям, мы можем угадывать их тайную мысль.

2. Присяга и орлеанская партия.

Г. Тьер уже в первой своей речи не скрыл чувств расположения и привязанности к орлеанскому дому. Слова его, полные чистосердечия и достоинства, так пленили всех, что вызвали ему более одобрений, чем упреков. Поэтому императорское правительство и не напрашивается на его дружбу. Затем г. Тьер дал понять, что, верный прежде всего идеям 89 г., он считает конституционную монархию в том виде, как она вышла из июльской революции, самым удачным выражением этих идей; но так как существование подобной монархии не зависит от той или другой династии, то он готов примкнуть к императорскому правительству, если оно, в свою очередь, объявит себя готовым действовать по его системе. «Примите мою теорию министерской ответственности, сказал он, – и я ваш. Но пока позвольте мне оставаться в оппозиции».

То, что г. Тьер сказал лично о себе, относится ко всем депутатам орлеанской партии.

Из этого ясно следует, что г. Тьер и его последователи, как сами сознаются, более преданы орлеанскому дому, чем Бонапартам, и нерасположены к конституции 1852. Правда, от них нельзя ждать, чтобы они, как простые граждане, позволили себе малейшее нападение на правительство, малейшее противоконституционное действие, особенно во время отправления своих депутатских обязанностей; но хотя от них нечего бояться заговоров, тем не менее они не сдержат, в качестве депутатов, своей клятвы повиноваться конституции. Они не могут сдержать ее, потому что она означает, что они не будут порицать конституцию, не позволят себе подвергать ее систематическому осуждению, могущему уронить ее в глазах общества. Стало быть, рассудок г. Тьера отвергает данную им присягу, и он будет каждый день нарушать ее своим поведением в парламенте: а по-моему, это называется клятвопреступлением.

По всей вероятности, г. Тьер, приняв звание депутата, не предвидел всех логических последствий этого поступка. Дитя своего века, когда клятва значит так мало, а политическая нравственность так гибка, человек практический, враг крайностей, он, вероятно, сказал себе, что не следует ни преувеличивать, ни уменьшать вещей; что в наше время, с 89 года, значение политической присяги состоит: 1) в признании императорского правительства правительством страны *de facto* и *de jure* и 2) в обещании не говорить и не делать ничего, ведущего к ниспровержению его. Отсюда г. Тьер заключил, что всего безопаснее ограничиться подобным объяснением, по его мнению, довольно ясным; что идти далее – значит переступить границу и давать правительству больше, чем оно требует; что даже лучшие друзья империи в сущности ни к чему большему не обязываются. По мнению г. Тьера, от него, приверженца парламентской системы и члена оппозиции, признанной законною, нельзя требовать, чтобы он сделался защитником династии, которой он не искал;

тем более, что требуемая присяга, по смыслу всех наших конституций и всей нашей истории с 89 года, непременно обоюдна, так что, если бы глава государства утратил престол вследствие какого-нибудь важного проступка, примеры чего уже не раз видали во Франции, то мы имели бы полное право обвинять в этом его одного; что касается до почтенных граждан, то, добросовестно послужив правительству своими предостережениями, советами и присягою, они имели бы полное право держаться в стороне и были бы совершенно невиноваты в падении династии.

Вот как, вероятно, рассуждал про себя г. Тьер; вся оппозиция рассуждает точно также. Я не могу опровергать и оспаривать этих рассуждений, и не буду противоречить им. Нельзя противоречить тому, что противоречит само себе. Здесь все: факты, новое право, конституция, задние мысли и недомолвки, – все говорит за и против; здесь все против самих себя и все осуждается перед судом разума и присяжных противников правительства: зачем же еще я буду опровергать их?

Но за то я хочу изобличить двусмысленность нынешнего порядка, безнравственность его противоречий, в которых лично никто невиноват, так как они вытекают из наших революций. Этот порядок узаконивает лицемерие и позволяет людям расточать клятвы, которых они не дали бы, если бы не знали заранее, что они ни к чему их не обязывают. Я восстаю против этих присяг, потому что они приносятся заведомо всуе, несмотря на заповедь: *Non assumes nomen Dei tui in vanum*; что они выражают только отрицательное обещание, пассивное обязательство, которое позволяет унижать, обличать, бранить власть без явного клятвопреступления. Я восстаю против них, потому что они ни мало не обеспечивают власть и приносят пользу только честолюбцам, которые не боятся связывать себя ими, зная их недействительность. Я обвиняю присягу в том, что она развратила общественную совесть; что, благодаря ей, в политическом мире каждый может сказать с невозмутимым спокойствием духа, какого не знали даже иезуиты: «Я дал присягу и не нарушу ее; но ни за что не ручаюсь, ни за что не отвечаю; чтобы исполнить мое обязательство, с меня довольно оставаться спокойным. Пусть правительство защищается, – это его дело; спасется оно или погибнет – вина не моя; – я умываю руки!»

Как! Вы называете это исполнять присягу и считаете себя разумными людьми! Но скажите же, что губило правительства в продолжении трех четвертей века? Что, как не шаткость систем, разногласие принципов, непонимание права, постоянное противоречие между народом и государством, конституционно выражаемое сомнение в добросовестности государя, нападки на излишество его могущества; беспощадные порицания со стороны противников правительства, которые клялись, если не поддерживать его, то, по крайней мере, щадить, и первые нанесли ему удар; вялость его защитников, измена любимцев, коварство оппозиций? Понятно, что поверхностные люди, верующие в действительность клятвы и вполне довольные восстановлением империи, торжественно присягнувшие Наполеону III, могут тем не менее по неопытности, по неумению сдерживать язык и даже по излишеству своего усердия, скомпрометировать и даже погубить правительство, которое хотят защищать. Все-таки это люди чистосердечные и заслуживающие снисхождение и сострадание. Когда-нибудь они поймут противоречие, игрушкой которого они были: дай Бог тогда, чтобы с искренностью их заблуждений не рассеялась искренность их сердец! Но вы, умники, вы, софисты, вы, знающие почву, по которой ходите, умеющие пользоваться

сомнительным положением правительства, противоречием его принципов, двусмысленностью выражений, шаткостью интересов, чтобы выковырять из всего этого оружие для нападения, безупречное перед конституцией и законами, – чистосердечны ли вы? Смее ли вы говорить о вашей невинности? Разве во всех речах ваших нет предательства? Вы упрекаете правительство, зачем оно не изменяет политики, зачем не переделывает конституции, то есть, зачем не отрекается в вашу пользу! Да разве мы еще не перепробовали всех правительственных форм и не пришли, наконец, к полнейшему скептицизму!

Кто же не знает теперь, что лучшая из конституций, за которыми мы гоняемся, на самом деле, вовсе не лучше прочих, и что предпочтение, оказываемое одной перед другою, есть ничто иное, как оппозиционная уловка? Вы отвращаете всех от правительства; вы подкапываетесь под него; вы подрываете его; вы подаете сигнал заговорщикам, и когда, наконец, здание рушится, вы кричите, хлопая в ладоши: «Мы не виноваты; мы сдержали свою присягу». О, вы похожи на ту женщину, о которой говорится в писании, что, запятнанная прелюбодейством, она уверяет, будто чиста. Вы прикидываетесь Юдифями, но в действительности вы Пентефриевы жены. Избавьте нас от вашей присяги: этим вы сделаете для свободы больше, чем низвержением тридцати династий.

3. Присяга легитимистов и республиканцев.

Из всех наших присяжных ораторов, не идущих рука об руку с правительством, г. Тьер менее всех заслуживает упрека. В историке Консульства и Империи, в поклоннике Наполеона Первого нельзя предположить глубокой антипатии к потомству его героя. Приверженцу монархической формы правления, любящему видеть в правительстве силу, власть и инициативу, увлекающемуся военной славой, ему не за что особенно упрекать императорское правительство. Он говорит императору: «Сделайте ваших министров ответственными, вместо того, чтобы посылать к нам ваших государственных советников, и я ваш!» Таким образом, дело стало за малым, чтобы он примкнул к правительству. Поэтому, он более всех других имеет право присягать, не присоединяясь к правительству. А между тем легко заметить, что в этой присяге нет ничего рационального, как и в условии, от которого г. Тьер ставит в зависимость свою преданность империи; он сам знает это лучше всех.

В предпоследнем томе своей истории г. Тьер ставит «Дополнительный Акт 1815 г.» гораздо выше Хартии 1814; а ведь ему известно, что прения законодательного корпуса организованы по образцу этого самого Дополнительного Акта. Каким же образом то, что, исходя от Наполеона I, заслужило, после 20-летнего личного опыта, полное и сознательное одобрение г. Тьера, может встретить в нем неодобрение, как скоро исполняется Наполеоном III? Следовательно, г. Тьер уверен, что в этом случае со стороны императора не может быть уступки, и потому сделал ее условием своего союза с правительством, и, если будет можно, то принудит правительство принять ее. Комедия!

Но что думать о гг. Беррье, Мари, Фавре и других, которые имели, кажется, много причин отказаться от присяги, кроме всех требований парламентской честности, конституционной искренности и общественной нравственности?

Г. Беррье – приверженец конституционной монархии; это несомненно. Но тогда как г. Тьер объявляет, что для него династический вопрос не имеет значения, и ставит условием своего присоединения принятие его любимого принципа: король царствует, но не управляет. – г. Беррье считает династическую законность необходимою сущностью конституции; это приводит его к принципу, диаметрально противоположному взгляду г. Тьера, именно, что король царствует и управляет. Не изменяя ни слова в конституции 1852 г., поставьте на место Наполеона III, Генриха V, и г. Беррье будет считать себя вполне удовлетворенным. Здесь, весь вопрос в личности и в династии, тогда как там в конституции. Конституция 1852 г. сама признала себя подлежащею изменениям, так что можно ожидать, что она изменится; поэтому г. Тьер может сказать, что его присяга есть выражение надежд, которые находятся уже на пути к осуществлению. Но каким образом может присягать Наполеону III г. Беррье, слуга Генриха V? Возможен ли какой-нибудь компромисс между этими двумя личностями? Законная династия сделала в 1814 г. все, что могла, примкнув к революции дарованием Хартии; г. Тьер рассказывал, как это обрадовало всю Францию. Но может ли эта династия и её представители дойти, подобно принцам Орлеанским и Бонапартам, до признания, что династический вопрос совершенно зависит от народного выбора, что таким образом основанная на предании и априорическая законность графа Шамбора – пустая фраза, и что Наполеон III вполне законный монарх, как император по воле народа, как государь *de facto* и *de jure*? Если г. Беррье согласен с этим, то, значит, он ушел далеко в принципах революции, и отчего в таком случае ему не пристать к бонапартизму, подобно г. де Ла Рош Жаклену? Если же он отвергает этот вывод, то что же такое его присяга?

То же самое относится и к гг. Мари, Ж. Фавру, Пельтану и братии его. Их считали и многие считают доселе республиканцами. Это значит, что, если с одной стороны г. Тьер и его друзья признают монархию необходимым условием правления, но не придерживаются безусловно ни одной династии, предоставляя выбор её воле народа; если, с другой стороны, г. Беррье и легитимисты утверждают, что монархия должна основываться на началах, более высоких, чем общая подача голосов, – то республиканцы полагают, напротив, что монархический элемент бесполезен, даже вреден; что настоящий государь – само собрание представителей или, самое большое, выборный президент, назначаемый и отрешаемый этим собранием или избираемый народом. Республиканцы резко отличаются тем, что требуют уничтожения монархии и династии. Допустим даже на минуту, что, по смыслу конституций и по духу демократической законности, они могут, не изменяя своим принципам, признать Наполеона III государем *de facto* и *de jure*, и таким просторным толкованием своей присяги удовлетворить и правительству, и общественному мнению. Тем не менее несомненно и неизбежно, что они должны желать заменить хартию 1852 конституцией 1848, тогда как г. Тьер хочет лишь возвращения к хартии 1830. Другими словами, они требуют: чтобы Наполеон III отрекся от императорского титула, так как он нарушает пределы, назначенные ему общей подачей голосов; чтобы он отказался за себя и свое потомство от преимуществ, предоставленных ему сенатскими постановлениями 1852 и 1856 гг.; чтобы он восстановил правление в том виде, как оно было 1 декабря 1851, и наконец, чтобы он, если желает остаться во главе правления, подверг бы себя вновь избранию, на основании общей подачи

голосов, как президент республики, избираемый не пожизненно, а на срок. Теперь спрашивается: надеются ли республиканцы, что Его Величество согласится на эти требования? Но такого вопроса нельзя и задавать серьезно. В таком случае они, значит, думают принудить его к этому? Но чего же стоит тогда их присяга? И так, если республиканцы оппозиции вступили в парламент с тайным намерением действовать силой и восстановить республику, то этим они признают, что цель их – уничтожить империю; следовательно, если они не отступники, то клятвопреступники; мало того: они, быть может, бессознательно, – заговорщики. А впрочем, что я говорю – бессознательно! Правда, они с негодованием стали бы отрицать это, если бы их спросили об этом в суде; но в глубине души они были бы очень довольны, если бы демократия считала их заговорщиками. Вот до какой бессовестности довела присяга наших государственных деятелей!

4. Присяга и новая демократия.

Во Франции всякий мыслящий человек, всякая разумная партия не должны допускать себя до политической присяги, которая у нас двойственна, сложна, противоречива, нелепа, опозорена, бессильна и лжива.

Нельзя давать двулличную, двусмысленную, обоюдоострую, противоречащую самой себе присягу, потому что такая присяга не может иметь серьезного смысла.

Нельзя давать присягу такому правительству, которого не признаешь и с которым явно и систематически враждуешь, потому что подобная присяга – преступление.

Особенно никогда нельзя давать такую присягу, когда доказано, что, даже будучи дана с намерением не исполнять ее, она влечет за собою самоотречение, нравственное самоубийство и политическое уничтожение той партии, которая ее приносит. Такая участь постигла бы рабочую демократию, если бы она поступила подобным образом на последних выборах и если бы в среде её не раздался формальный протест против присяги. Я постараюсь доказать это, и этим мы заключим главу.

Люди старых партий, после двенадцатилетнего честного бездействия, сочли нужным, чтобы возвратиться на политическое поприще, принести конституционную присягу, однако не примыкая искренно ни к императору, ни к династии, ни к конституции 1852 г. Они поступили таким образом не без причины: очевидно, они руководствовались различными побуждениями, как личными, так и политическими.

Оставим в стороне личные побуждения: в них мы нашли бы мало хорошего. Обращаясь к политическим побуждениям, что мы видим? В глазах Оппозиции, правительство, разумеется, дурно; оно не следует принципам 89 г.; оно нарушает права и вольности народа; своею расточительностью оно обременяет плательщиков податей и вызывает социальную революцию; словом, и внутренняя, и внешняя политика императора достойна всякого порицания. Так думает Оппозиция. Вследствие этого, она говорит про себя (очень тихо, так тихо, что сама себя не слышит), что следует покончить с таким правлением, что величие цели вполне заглаживает некоторую неправильность в средствах, тем более, что

никто ничего не замышляет против самой особы государя и против его династии: не цареубийцы же, избави Боже, гг. Тьер, Беррье, Мари, Ж. Фавр! в лице Наполеона они преследуют политическую систему, противоречащую правам и вольностям страны, великим принципам революции; если, при этом, с кемнибудь случится несчастье, то ему придется пенять только на самого себя.

Словом, старые партии, соединившиеся против императорского правительства, очень хорошо знают, что делают. Они не взялись бы за дело, которое политическая нравственность, особенно в случае неудачи, не преминула бы назвать государственной изменой, если бы в глубине души не ободряли себя убеждением в необходимости этого для страны и сознанием народного права. Никто не нарушает присяги по пустякам, не прииская благовидного предлога и приличного оправдания.

Но чего искала рабочая демократия, вступая в эту буржуазную коалицию? Чего она ждет себе от неё? Чего может она добиться от этой старой системы, которую хотят восстанавливать и поддерживать против социалистических стремлений и императорского абсолютизма?

Рабочей демократии известны политические и социальные убеждения Оппозиции; убеждения эти одинаковы с правительственными. Напомним их снова читателю.

1) Французская нация, т. е. 37 миллионов душ, которые населяют наши 89 департаментов, составляет единый и нераздельный политический организм;

2) этот организм состоит из следующих элементов: самодержавного народа, власти, представляющей его, и конституции, определяющей их взаимные права, преимущества и отношения;

3) власть, подобно политическому организму или государству, едина и нераздельна; конституция представляет сильнейшую централизацию;

4) эта политическая централизация уравнивается независимостью и несолидарностью промышленности, абсолютизмом собственности, торгашескою анархией, которые роковым образом ведут к промышленному и финансовому феодализму и к порабощению труда капиталом. Таков политический идеал наших противников;

остальное: конституции, династии, президентства, диктаторы иди директора, выборы и представительства, власть исполнительная и законодательная, ответственность государя или ответственность его министров – все это дело второстепенное, вопрос формы. Вот что Оппозиция и Правительство называют общественным делом, делом, которым каждый стремится овладеть, которому все преданы на жизнь и на смерть, как самому отечеству, и священный интерес которого может, в важных случаях, побудить заклятых врагов и соперников присягать друг другу в верности и в послушании. Вот то, что им хочется спасти или, по крайней мере, вырвать из когтей императорского орла, который, по их словам, слишком много забрал себе. Когда отечество в опасности, задумается ли кто спасти его даже ценою ложной присяги?!

Но нам-то что делать в этой интриге, нам, демократам нового века, людям труда и права, нам, льстящим себе надежду восстановить политические и общественные нравы? Неужели мы можем надеяться, что она будет нам полезна?

Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что, присоединяясь к Оппозиции, мы только меняем один деспотизм на другой. И вся польза, какую мы можем извлечь из своего клятвопреступления, будет состоять в том, что наша совесть и наши интересы принесутся на алтарь буржуазии. Мы станем заговорщиками, изменниками и подлецами в угоду шайке мошенников, которая завяжет бой с нами, а не с империей.

И кто, наконец, спрашиваю я, эти люди, которые притворяются такими отчаянными врагами императорского правительства? Эти люди – старые легитимисты, подонки древнего дворянства, живущие не трудом рук своих, а доходами, монополиями. Разумеется, что подобные люди нуждаются в покровительстве государя и согласятся заранее, заодно с Беррье, перейти на сторону Бонапарта и отказаться от династии Бурбонов, во имя спасения общества, т. е. во имя спасения своих личных интересов, чинов и титулов. Разумеется, что они дойдут до этого не сегодня, но может быть завтра или послезавтра и, в конце концов, дойдут непременно.

Кто они, эти враги императорского правительства? Неужели миллионеры, представители Орлеанской династии, сливки, цвет буржуазии, все эти плутократы и спекуляторы, которые загребают жар чужими руками, скупают акции, берут взятки, занимаются биржевой игрой и гоняются постоянно только за барышами и развратными наслаждениями! Разумеется, что для подобной сволочи, бессовестной и тунеядствующей, необходимо покровительство сильного правительства, в ком бы оно ни олицетворялось. Разумеется, что всякое богатство, которое приобретается не собственным трудом, а сохраняется и накапливается монополией, взяткой, обманом и насилием, ищет неизбежно опоры в правительстве, потому что без него такое богатство было бы невозможно, немыслимо.

Духовенство, при всем своем желании, не может отказаться от присяги, что с ним будет без государства? Это известно со времен Константина. Сам Иисус Христос заповедал воздавать Кесарево Кесареви. Правда, он присовокупил, что Божие Богови, что совершенно меняет дело. Наконец, республиканцы по форме и, может быть, несколько демократов-коммунистов, – такие люди способны, конечно, вступить в коалицию и не задумаются перед присягой, потому что они прежде всего – централизаторы, приверженцы нераздельности и единства, люди авторитета, рассчитывающие на правительство больше, чем на самих себя, следовательно, – верная челядь фактической власти, если она будет милостива и любезна к власти по праву, которая, по их мнению, – они сами.

Нет, мы, люди нового общественного договора, мы, отвергающие, прежде всего, политическую нераздельность и экономическую несолидарность, мы не можем принять присягу, которую наперерыв приносят наши противники, враги и друзья Империи. В этой присяге они видят поддержку своей системы, защиту своего существования и нашу гибель; присягнув за одно с ними, нам пришлось бы потом присягать против них. Когда мы будем подавать голос против Правительства, нам придется подавать его, в тоже время, и против Оппозиции; а для такой борьбы с союзом всех старых партий, мы должны избрать поле

сражения не в парламенте, а вне его.

— Пустяки! говорят некоторые, мы будем так же верны Наполеону III, как он сам конституции 1848 г. Что вы скажете на это? – А вот что: во-первых, это все-таки будет клятвопреступление, которого не оправдает никакой пример, никакое возмездие; во-вторых, вас не разрешат от присяги, как Наполеона III, в 1851 и 1852 гг., 8 миллионов голосов. – Политическая присяга, говорят другие, все равно что ремесленная, служебная; другого значения она не имеет. – Действительно, представительство, приносящее многим тысяч 12 или 15 франков дохода, есть уже ремесло, служба. Что правда, то правда.

Выведенная из терпения, толпа эта кричит – «такая совестливость неуместна и несвоевременна! – мы не обязаны быть разборчивее других! – прежде всего, если мы хотим служить идее, надо действовать, – а мы лишаем себя могущественного средства к действию и пропаганде, отказываясь из ложной деликатности от выгод, представляемых парламентом.

«Будь, что будет, а делай, что следует!» – вот поговорка, против которой оказалась бессильна вся мораль иезуитов; неужели мораль нормальной школы окажется сильнее?.. Ну, так я же докажу, что эта публичная трибуна, которой соблазнили народ, просто ловушка, что представители изменили всем надеждам народа; что нам нечего делать в законодательном корпусе, и что мы могли бы придти туда только на минуту, чтобы обличить бессилие Правительства и Оппозиции, и затем удалиться, с напутствием их общего проклятия. – Спору нет, что за истину пострадать хорошо; но для этой цели еще не стоит делать клятвопреступления.

Версия #4

Зверобой создал 21 марта 2025 21:12:28

Зверобой обновил 11 июня 2025 15:29:13